

НА ПЕРЕЛОМЕ СТОЛЕТИЙ

Образ и интонация в стихотворениях Сергея Попова

Лирика воронежского поэта Сергея Попова — одно из самых сложных явлений современной отечественной поэзии. Его строки отличаются плотной образностью, причем автор порой дает читателю только часть фигуры, которую упоминает, не проговаривая и не прописывая детали. И следом на уже сказанное наплывает новая строка, в которой названный прием может повториться, сгущая поэтическую речь и доводя ее до творческой «темноты». Этим отличались многие стихотворения Мандельштама, в которых ясность сказанного имела очень ограниченные пределы. Тогда как локальные тезисы или замечания на языке житейском были вполне понятны и свидетельствовали о том, что поэт — такой же человек, как и его читатель. Между тем волевые признания автора характеризуют, прежде всего, его человеческие качества и призваны завоевать доверие или признательность аудитории (О. Мандельштам: «Не своей чешуей шуршим, / Против шерсти мира поем»; С. Попов: «Но зато бесполезное слово / Словно пламя цвело на ветру»).

Сюжеты Сергея Попова разворачиваются не на внешней стороне мира, а будто под некоей очевидной, видимой и осязаемой, коркой. И все, что происходит с миром и человеком, становится своего рода комментарием к наглядно происходящему, которое диктует поэту словарь и интонацию — как правило, окрашенную горечью.

если глянуть искоса и кратко
обернувшись не из-за чего
растворится горькая облатка
в кровь перемещая вещество
и тогда припомнит вполне
нехотя ожившая душа
через город речка протекала
подо льдом от холода дрожа
самогон варили на продажу
и пекли на маслену блины
и у недоростков патронтажу
при обмене не было цены
опершись на ржавые перила
по обыкновенью под хмельком
старость говорливая курила
наслаждаясь в лунке поплавком
и воздвигнув уличную елку
в гости из гостей переходя
участковый прыскал втихомолку
возле изваяния вождя

Зрение художника настроено так, что он видит структуру предмета и события, но полный абрис происходящего ускользает от его внимания или же не интересует его принципиально. Кажется бы, здесь царствуют замкнутость сердца и свобода вольно льющейся речи, что никак не может привлекать человека, погрузившегося в лирическую материю Сергея Попова. Но выбор слов и построение самого высказывания обладают удивительной притягательностью — наверное, волшебство самой поэзии завораживает наш ум. На деле, многое тут определяют поэтические приемы, позволяющие стихотворцу властно овладевать слухом и внутренним зрением своего собеседника.

По существу, Сергей Попов не говорит нам о мире как о подлежащем: «что», но пытается со всем своим редким литературным умением дать его определение: «какой?» Это свойство таится практически во всех стихах автора, и потому он выглядит больше комментатором, а не строителем. И если у Мандельштама в лирике мы часто находим сопротивление безжалостному миру, то у Попова — лишь констатация горестной бесчеловечности окружающей среды.

Стремглав слетело покрывало
тумана с крапинами звезд.
И темноты как не бывало —
пейзаж безоблачен и прост.

И прорисованный с пристрастьем
до линий каждого листа,
он полон светом и несчастьем
себя раздаривать спроста.

Швырять разительные крохи
преображенья во плоти
в глаза свидетелю эпохи,
с которою не по пути.

Наверное, не стоит сопоставлять поэтические фигуры разных эпох, каждое время диктует нам не только слова, но и собственно чувствование происходящего с нами и нашей землей. В этом — привязка поэта к родной почве. Хотя важно понимать, откуда берется такая тяга: рождается ли она онтологически безусловно или же продиктована только грубой предметностью сегодняшней цивилизации.

В названном смысле Сергей Попов — личность раздвоенная: не доверяя зову земли в достаточной мере, он понимает одновременно, что цивилизация его обманет и предаст. Подобная «половинчатость», скупая определенность ума и сердца становятся тем фоном, на котором поэт ведет разговор с провиденциальным собеседником, по Мандельштаму, и со своим современником, порой путая слушателя и обращаясь иной раз к самому себе.

Стихотворения Сергея Попова выглядят отчетливыми свидетельствами мировоззренческого перелома столетий, когда смешались пути, порвалась связь времен, а разница между добром и злом стала дискуссионной. И какой следующий шаг будет для нас спасительным, определит не ум и не сердце, а наша воля.

Но устремившихся с ума
водою в решето
всевышний нежит задарма
и помнит как никто.

Вячеслав ЛЮТЫЙ

* * *

Здесь ветер бьет из-под земли,
щекочет ночь глаза.
И продается за рубли
горючая слеза.

И пыль столбом сквозь мор и хлад
стоит как часовой.
И не сыскать пути назад
с повинной головой.

Пойдешь направо — пьянь и рвань,
налево — смех и грех,
где бестолковщиной словарь
разделан под орех.

Растет бурьян сквозь имена
безумцев словаря.
А дело бога сторона,
пропавшая зазря.

И если нынче тишь и гладь,
то завтра — шум и гам.
И ветер ереси в тетрадь
заносит по слогам.

В мобильник, в голову, в айпад,
в ночную кровь страны.
Что делать, если виноват —
как прежде, без вины?

Где накатин и никотин
спасают до поры,
летят на отсветы седин
слова в тартарары.

Но устремившихся с ума
воду в решето
всевышний нежит задарма
и помнит как никто.

* * *

Воздух предместья его сгубил,
черная рябь реки.
Месяц румянится из глубин
разуму вопреки.

Нравится дурику странный час
перед сплошною тьмой.
Он забавляется всякий раз
и не шустрит домой.

Где-то у пристани заторчит
в сонме своих прорух —
точно кто сверху, многоочит,
высветлит все вокруг.

Звездные водоросли стоят
над головой глупца.
Позднего лета плавучий яд
зыблет черты лица.

И на глазном серебрятся дне
блики с другого дна,
где различимая не вполне
кровь тишины видна.

Стебли светил на ее пути
местный пронзают ил —
точно пловец различил почти,
что за душой хранил.

* * *

Созвездие Весы.
Ночная брешь в рассудке.
Квартира на часы.
А можно — и на сутки.

Все можно. И нельзя
от ночи отстраниться.

Безумная стезя.
Банальная страница.

Там черным наверху
в прогалах звездной пыли —
строка теснит строку —
о том, как жили-были.

А после не срослось,
и время раздвоилось —
на циферблате врозь
забвенье и немилость.

Минуты до зари.
И годы без зазрения.
И вечные внутри
минувшего коренья.

Все листья и цветы,
темны и невесомы,
с бессонной высоты
взирают на промзоны.

На дальние дымы,
на мятые постели,
на каверзы зимы,
растравы и потери.

Порывистая речь,
отрывистая память
не в силах уберечь
и даже позабавить.

И если на весах
вся жизнь и приступ дрожи,
гадать о новостях
к утру себе дороже.

И времени в обрез,
а мы в гостях как дома.
И сердце чует вес
бессмертья молодого.

* * *

Смачный ли кончается сезон,
вертится ли ветер в голове —
впереди досада и разор,
а ничуть не горько на Москве.

И восходят скудные дымы,
кашеварят душные дома.

От пустой поутренной сумы
сходишь на окраине с ума.

Но выходишь исподволь на свет —
непосильный, пристальный, стальной, —
на семь бед единственный ответ
в осень сумасшедшую длиной.

В кровь свое предплечье ущипни —
отчего вчерашнее не сон.
Желтые пожухлые огни
провожают прожитый сезон.

Что за доблесть горе горевать,
ублажая завтрашнюю смерть?
Ветру, что курочит дерева,
праздником забвения ответь.

Станут сучья дачные пылать,
уплывать дороги, города.
Весям, полустанкам — исполать! —
тасовать погоды и года.

Дабы ни бутырский перегной,
ни мордовский станционный чад
по отмашке памяти блажной
сна не нарушали невпопад.

* * *

Вдруг оборачивается и смотрит коротко, но в упор,
поправляя некстати сумочку на плече.
А потом уходит, цокая, через двор,
и наступает вскорости время Ч.

Нужно немедленно все и про все понять,
вещи сгрести в охапку, хлебнуть винца,
ножик на кухне потрогать за рукоять,
встать и ухмылку стряхнуть с лица.

Ранняя осень, конечно, чудо как хороша:
ржавчина, золото — все сплошняком бальзам.
Что же не топать вдаль прерывисто, не спеша,
не потакая ни выплескам, ни слезам?

Слишком вокзал на летучую рыбу в огнях похож:
только за вечереет — летит-плывет.
Не холодрыга в городе, а пробирает дрожь,
и внутривенный тупо твердеет лед.

Это не потому, разумеется, будто страх
подразыгрался у канувшего в ночи.
Просто в косяк торчат на семи ветрах
и самому себе повторять «молчи».

Знать, что вода в аквариуме будет стоять сто лет,
и разноцветный, детский — прости-прощай...
В принципе можно пристроить в шкафу скелет
и перейти в знак дружбы на «только чай».

Но если тьма спешит и ее неумна прыть,
и чешуя у чудища изо льда —
следует не терять лица — улетать и плыть —
не за горами главные холода.

* * *

То какая-то общая фотка.
То тетрадь в карандашной пыли.
Фонаря законное око.
Янтари, корешки, хрустали.

Все купается в пресном растворе
местных сумерек, и не сквозит,
что кристаллы разъятия вскоре
обозначат свободный транзит

в зазеркалье ловцу никотина,
в темноту заклинателю тьмы.
Но пока за грудиной едина
аритмия сумы и тюрьмы,

над собранием прежних безделиц
забывает о даях иных
бань общественных сирых сиделец,
молчаливый стоялец пивных.

И вдыхает, счастливо ощерясь,
межстраничного лавра труху,
отыскав несусветную ересь
в антресолях на самом верху.

О снегах, где дышалось елово
и рука примерзала к перу,
но зато бесполезное слово
словно пламя цвело на ветру.